

34. Младший брат

“Лицо самоубийцы”, — сказала ты, с грустью глядя на меня. Ты права. Если я действительно не хочу потерять тебя, сына, жизнь, я должен забыть вкус вина. Неделями схожу с ума: думаю о вине. Никому это неизвестно.

Жаль, что очень рано я стал одиноким. Все случилось, как горный обвал. Первым камнем, брошенным с вершины, было одно слово. Вздрагиваю, когда слышу из детства: “Слепак”

После первого камня вниз понеслась лавина. Обида перешла в одиночество, одиночество — в оригинальничанье, а там — неизбежный конфликт с организованной общностью людей, усталость, отчаяние, забвение в вине. А в начале было слово”.

Так написал в дневнике мой младший брат Николай, будучи сорокалетним мужчиной. Жить ему оставалось шесть лет.

Вторые роды у мамы были тяжелыми, еле спасли ее. Врач предупреждал, что рожать нельзя. Маминого здоровья, подорванного в немецком рабстве, хватило только на первенца. Но иметь одного ребенка в Горске было не принято. Мама решилась. Второе дитя не желало рождаться. Ему помогали, его заставляли, тащили на свет щипцами. Повредили лицевой нерв. Веко одного глаза у брата было припущено. Желая поднять веко, он открывал рот. На детских фотографиях вылетающую птичку Колька ловит и глазами, и ртом.

Дети любят придумывать друг другу именушки. Колин признак был налицо, именушка прилипла сама собой: “Слепак”.

Лет до семи-восьми Коля, оставшись один в хате, бил поленьями окна. Ночью кричал и плакал, доставляя тревогу маме и работу деревенским шептухам.

В ранней юности я вел дневник. Там много страниц о брате. Например, 29 сентября 1963 года:

“Как бились мы сегодня с Колькой! Как ни жутко и прескверно, но это было. Я дрался с ним в комнате. Дома никого не было.

Он не уважает меня. Да нет, совсем не считает за брата. И если обращается ко мне, то говорит слово “долбак”. Я просил его много раз. Уговаривал. И вот сегодня. Когда он сказал мне “долбак”, я ударил его. Не сдержался. И когда я ударил — он бросился ко мне. Началась потасовка. Я взял его, вернее прижал хорошенько, и держал. Дальше было так: он заплакал, и я отпустил, а он за стул и опять ко мне. Он мог убить в ту минуту. И я опять ударил, ударил родного брата.

Он ходит в девятый класс. Уроки делает 20 минут, учится на тройки и двойки. Много читает: Джек Лондон, фантастика. Но читает он, видимо, просто так. Большой роман перелистывает за 2-3 дня.

Как помочь ему? Неужели он вечно будет таким “волчком”, как говорит о нем бабушка? Не разговаривает, грубит. Такой со всеми. Когда мы ехали автобусом из школы, положил грязные сапоги на спинку сиденья. Все говорили, чтобы снял. Он смеялся: “Что, нервишки пошаливают?” Маме, когда садится

есть, говорит, что сварила говно. Хорошо рисует, знает картины многих художников, но говорит маме гадкое слово”.

Коля взялся за ум, как выражалась мама, в одиннадцатом классе. Чтобы не отстать от старшего брата, добавляла она. Я учился в университете. Мы переписывались, причем, на белорусском языке, который, как и русский, являлся для нас выученным языком, родным же, материнским, был полесский. Выбрали Коле библиотечный факультет пединститута.

Из братнего письма (30 декабря 1965 года):

”Дзень добры, Толік! З Новым годам!

Апошнім часам мне пачало здавацца, што я нічога не ведаю. Быццам, і не вучыўся 10 гадоў. Здаецца, што я нікчэмнасць, нікуды не варты. Гісторыя, нямецкая мова – тут пяцёркі. І ўсё ж нейкая незадаволенасць сабой. Кажуць, што я добра ведаю літаратуру. А мне здаецца, што я ў ёй поўны прафан. Нейка пуста ў галаве пры слове ”літаратура”. А выклічуць адказваць, паганяюць па тэме – нешта ведаю. Чаму такая незадаволенасць сабой? Цяжка растлумачыць. Спадзяюся толькі на тваё разуменне.

Выконваю твае парады. Уважліва чытаю тое, што спатрэбіцца на бібліятэчным. Не прапускаю аніводнага нумара ”Польмі”, ”Маладосці”, а ”ЛіМ” выпісаў. Многа чытаю літаратурнай крытыкі. Але ніяк не даб”юся пяцёркі па сачыненні. Там давай паболей пафасу, патрыятызму ды казённых слоў, а ўласных разважанняў Батон (іменушка учителя — А.К.) не любіць. Ненавіджу яго!”

Коля без проблем поступил в институт. Жилья ему не дали. Мы вновь, как в детстве, спали на одной кровати в моем общежитии на Парковой магистрали.

Месяца через два он не пришел ночевать. Одну ночь, вторую. Я опросил всех его знакомых, пока не разыскал Колю в больнице. Он задумал подправить опущенное веко. Сделали операцию. Веко полностью не поднялось. Через несколько лет он сделает вторую операцию. Значит, комплексовал. Хотел быть «красивым».

Вскорости Коля влюбился. На институтском вечере он с девушкой забрались на чердак, занялись там грехом. Вахтер оказался бдительным, декан – принципиальным, ректор – безжалостным. Колю исключили за ”аморальное поведение”.

Он уехал домой. Работал с отцом помощником экскаваторщика в Сигневичском строительно-монтажном управлении мелиорации. Я год хлопотал за восстановление брата в институте. Он приехал в Минск доучиваться. Опять мы спали на одной кровати.

Он вновь влюбился. Объявил о женитьбе. В двадцать лет. Папа и мама – против. Он нагрубил. Они лишили его благословения и прочего. Мне приказали не общаться с ним, пока не ”одумается”.

Втайне от родителей я поехал проведать молодоженов. Они сняли конуру на чердаке в Заводском районе. Коля устроился на работу, Марина была беременна. И голодна. Меня поразило, как жадно она ела. Поразило, что Коля пьет, не закусывая, не разговаривая.

Узнав, что невестка ждет ребенка, мама примчалась в Минск. Был восстановлен семейный мир. У брата родился сын, которого назвали Колей. Когда мальчику исполнилось пять месяцев, Марина внезапно заболела и быстро умерла. Ей было девятнадцать лет. На похоронах я видел, как у брата, высохшего, почерневшего, дрожали руки, когда он торопливо глотал поминальное питье.

Родная сестра покойной Марины была замужней, но бездетной. Пристала к Коле: отдай мне ребеночка, ты молодой, еще женишься, у тебя будут дети, а твоего мы усыновим. Вариант поддержали родители и я. Маленького Кольку отвезли на квартиру новой мамы. Большой Колька поехал работать в Барановичи, в железнодорожную библиотеку, куда получил направление после института. По зрению его признали негодным к военной службе.

Я служил в Слуцке, жил в офицерском общежитии. С братом изредка переписывались. Вызывает меня в Минск на суд в качестве свидетеля. Коля решил забрать сына, однако новые родители не отдавали. Суд восстановил кровное родство. Мальчика, он уже ходил, увезли в Горск на попечение бабушки.

Мама растила внука до восьми лет. Брат работал в Барановичах. Я единственный из близких знал, как ему жилось. Во хмелю Коля ударил какого-то местного начальника. Тот подал в суд. Тюрьма грозила брату неотвратимо. Откупиться можно было деньгами, о чем потерпевший намекал. Коля честно мне рассказал, попросил помочь. К деньгам я добавил моралите старшего брата. Коля промолчал. Тяжело посмотрел на меня. Во взгляде отсутствовало соучастие. Я вспомнил бабушкино: "волчок".

Из братнего дневника

«Себя в детстве без брата не помню. Он всегда рядом. Когда мы, еще так тесно связанные общим поведением, укладывались в кровать, а мать задувала лампу, – начиналось немое кино. По стене медленно проплывали огни и страшные фигуры. То светили на шоссе проходящие машины.

А вот идем переулком. Брат всегда водил меня за руку, так велела мама. Я нагибаюсь за какой-то щепкой. Брат тоже нагибается, не выпуская мою руку.

Наш дом горел. Трещала соломенная крыша. Через пламя чернели стропила. В огне визжала свинья. Мы с братом, взявшись за руки, стояли среди вытоптанной картошки, орали одним голосом в две глотки.

... Когда-нибудь сын подумает: что делал и что думал отец, когда ему было столько же лет, как мне? Отец сидит в ресторане, заполняет душу зеленым змием, смотрит на баб.

... Алкоголик – двигатель прогресса. На его рубли в Анголе взлетают советские ракеты. Почему в центре Африки алкоголику еще не поставили памятник?

... Не люблю школу и раскрашиваемые розовым школьные годы. Не испытываю трепета перед своими учителями. Потому что школа, ее репрессивная система постоянно давила, рождая чувство неполноценности.

... Никак не пойму, за что мать и брат изволят помыкать мной, являя явное нерасположение. Вероятно, я – некая тайная, нежелательная их черта, нашедшая по воле рока реальное воплощение. Для них – к недовольству. Для меня – моя единственная жизнь.

... Юнец целовал на бульваре пышную не по годам девушку. С такой жадностью, с какой деревенская старуха за углом давится мороженым. С такой жадностью я смотрю на бутылку.

... Опять инстинкт самосохранения, едва развитый во мне, не сберег. Равнодушная государственная машина проглотила, пожевала, выплюнула. В следующий раз я сломаю ей хотя бы один зуб.

... Прекрасно! Выйти из автобуса в незнакомой деревне, где тебя никто не знает, взять в сельмаге хлеба, колбасы, вина, пойти в поле, причаститься. Абсолютная свобода!

... Хорошо знаю три типа культпросветработников. Старшего поколения. Они выходят ко мне, проверяющему из области, с озабоченным видом, в сапогах и телогрейке. У них бумаги не в порядке, но хорошо отобедать. У девиц, слоняющихся по захламленному клубу, бумаги в порядке, а трусики голубые. И, наконец, неутюженного вида сельские хлопцы, у которых ни бумаг, ни культработы, ни ветчины в доме.

... Так начинаешь не любить друзей и близких — беспощадных свидетелей твоих срывов, неудач, непростительного самомнения».

«ПРОСЛАВИВШИЕСЯ» В БАРАНОВИЧАХ, КОЛЯ НЕ МОГ НАЙТИ РАБОТУ. ПЕРЕБРАЛСЯ В БРЕСТ. С НИМ ПЕРЕЕХАЛА ВТОРАЯ ЖЕНА. ОНА ПРЕПОДАВАЛА СОЛЬФЕДЖИО, У НЕЕ БЫЛ СЫН ОТ ПЕРВОГО БРАКА. КОЛИН СЫН ХОДИЛ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ГОРСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ЕГО ЗАБРАЛИ В БРЕСТ.

Сборная семья поселилась в полубараке. Коля работал библиотекарем, инспектором областного управления культуры, заместителем директора дома народного творчества, заместителем директора театра. Много ездил по области. Печатал в республиканской прессе и в энциклопедических справочниках статьи о культуре. Получил трехкомнатную квартиру в центре города. Накапливал мощную домашнюю библиотеку.

Мать радовалась. Не знала, что в командировках Коля спивался, что его обокрали и забрали казенные деньги, что он поднимает руку на жену, что в очередной раз уволен. Мама не скоро узнала, что его семья распалась, и он с сыном очутились в однокомнатной развалюхе.

Из братнего дневника

«Зимой заметало дорогу. В Малечь, где была школа, не ходил автобус. Туда и обратно, восемь километров, мы с братом шагали пешком. Ослепительно блестела санная колея. Носками кирзовых сапог мы пинали мерзлые конские яблоки. Соревновались: кто прокатит одно и то же яблоко подольше. С тех пор, как разомкнулись наши руки, мы соревновались во всем.

... Идиотизм, в котором я участвую. Внедряем культуру через клуб. А в быту, во взаимоотношениях людей культуры все меньше и меньше.

... Во всем я потерпел поражение. Оторвался от земли. Но не взлетел. Никогда ни с кем не могу быть самим собой. Этому маскараду много лет. Бедная моя мама. Бедный сын.

... Постоянное ощущение. Смерть бабушки, отца, мамы, отчуждение брата – как разрушение единого организма, которым мы были когда-то, взаимодополняя и поддерживая один другого.

... Не нужно ничего. Дайте мне метлу. Целыми днями буду сгребать листья. От моего труда возникнут кучи, горы. А потом – сжигать. Смотреть, как дым тает в небе. И ни одной мысли. А если бы еще кормили и наливали!

... На автобусной станции видел, как ее начальник в форменной фуражке сидел "на очке" в загаженном туалете. Приходили по той же заботе рабочие, уважительно с ним здоровались. Он солидно кивал фуражкой. Захотелось выпить, чтобы забыть мерзости общества».

Третью жену Коля нашел в командировке в Столинском районе. Она имела троих детей от двух предыдущих браков и деньги, вырученные продажей семян цветов на северных рынках России. Шумным табором переселенцы заняли в Бресте однокомнатную квартиру, вытеснив родного сына Коли на кухню, на вокзал, в сомнительную компанию, в тюрьму.

Получив брестскую прописку, третья жена занялась строительством четырехкомнатной квартиры. На это ушло семь лет. Семь последних лет Коля прожил в невыносимой тесноте, в шуме-гаме, без нормального сна. В этом он признался мне, уже умирая. Мама о его третьем браке так и не узнала: скрыл.

Заимев жилище, столинская предпринимательница развелась с Колей, ушла с детьми и вещами. Я полагал, что тут была обоюдная сделка, что за годы кошмара деловая женщина рассчиталась с братом не только телом, но и дензнаками. Однако в его дневнике я прочитал о ней чистые слова любви.

В дневнике Коля искренен, как дитя. Всю жизнь он был тем ребенком, который испугался, когда акушерка перерезала пуповину, оставляя его один на один с миром. Его жизнь и есть судьба. Печальная, никем не понятая.

В последние встречи в Брестской областной больнице мы говорили обо всем, что было, а не о том, что вот-вот будет, – о его смерти. Я знал от врача, он знал от своей души. Но слово «смерть» не произнесли ни разу. Последних распоряжений и просьб брат не высказал. Мы оба знали по определению, что наше вечное место в родном Горске. Там мы вновь станем едины.

Из братнего дневника:

«Отец. Мы шли лесной дорогой. Он вспоминал. Это было с ним редко. Мать могла вспоминать часами, отец был скуп на слова.

Он вспоминал молодость: "За ночь обойдешь все деревни вокруг Горска, ищешь, где лучшие танцы и девчата. Натанцуешься, ноги гудят. Подходишь к Горску, небо начинает светлеть, птички распеваются. Вот здесь, под грушей, прилегал. Птицы поют. Слушаю и сплю".

И отец и мать слились с бессмертным хоралом. Хочу рядом с ними спать и слушать птиц. Отцу – пятьдесят, маме – шестьдесят пять, а мне будет меньше. На то я и сын».

Мой брат Николай Николаевич Козлович умер 25 апреля 1995 года. Родился – 20 июля 1948 года.

Горское кладбище в лесу. С двух сторон огорожено, с двух – нет. То ли у сельсовета не хватило штaketника, то ли задумано, чтобы чабрец, березки, сосенки запросто заходили к своим людям.

На его могиле я поставил каменный крест. В ногах. Когда захочется, брату будет легче приподняться, ухватившись за крест. Слышу его голос, узнавая свой, у нас идентичные тембр, ритм, полесский акцент. Его сарказм: "Что я вижу – старший брат пьет в одиночестве!" – "Я уже не старший, Колька. Нелепо быть старшим над твоим крестом, над травой и ветром, над нашими березами и облаками." – "Ладно, за это выпью и я. Налей, поставь на травку".

Николай не показывал мне свою лирическую прозу. Не всегда наши отношения были безоблачны, но ведь жизнь подарила нам и минуты братских откровений. Почему он не дал почитать то, что писал для души?

Его этюды и эссе нигде не печатались. В архиве брата я обнаружил равнодушные отписки редакторов. Две папки с рассказами Николая покоятся в моем шкафу. Опубликовать их не удалось. Я периодически достаю их и читаю. Несомненно, это талантливо написано. Однако для меня в текстах брата важнее другое. Он сумел точно выказать то, что существует и во мне. Брат многое сказал за меня. Пусть он будет в моей книге.

Из лирической прозы Николая Козловича:

Соловей

Светлой апрельской ночью разбудил прозрачный лунный дымок, обрисовавший переплеты оконных рам, и соловей в голом саду. Прислушался. Звуки четкие, сильные, словно в горле ночи, булькая под напором неведомых глубин, бил чистейший родник.

Почему же не в лад с его холодноватой чистотой примешивается тревога? Не разберешь, где начало ее, где конец. Будто не в радость весна, обновление.

Выхожу в необъяснимо волнующий мир весенней ночи, в древний запах пробуждающейся земли, где все заново входит в свои орбиты, в ожидание, которым проникается, кажется, каждая клеточка. На земле – мелкая рябь светлых теней. И такая же холодноватая рябь волнения в душе.

Но почему томит тревога?

Ухожу, так и не найдя ответа. Чтобы только зимой понять: это время такое, когда сердцем безоглядно веришь, что все впереди и только для тебя, а разум охлаждающе шепчет, что в тысячный раз все это, в тысячу тысячный...

Разве можно смириться с этим великим разладом? Разладом бунтующей почки с желтым листком, который, падая спокойно, завершает свою

коротенькую орбиту. Смириться, зная, что она все-таки не закончилась, а только часть орбиты большой. Вечной, постичь которую нам не хватает одной жизни.

И как не смириться, если с соловьиной песней проходит через сердце все сущее, что ощущали и до тебя? Проходит, выделяя тебя из лона вечности. И возвышая.

И все-таки!

Бывает, подумаешь: как все-таки одинока в мире человеческая душа! Как одинока!

Представишь ее трепетным светильником, упорно мерцающим из тьмы веков. Множество опасностей и случайностей грозили сомкнуть крылья над ее животворящим теплом. Жутко было душе наедине с грозными первобытными звездами, тесно в своем раз и навсегда отведенном обиталище, на дно которого не проникнуть другому человеку.

Подумаешь – и тут же возразишь самому себе: почему одинока? А любовь? Не извечная ли тоска человека по человеку переплавилась в эту величайшую на земле силу?

И что с того, что не унимается тихая бесконечная грусть, что в суете и терпении сгорают колонны прожитых дней? Значит, не встретились еще. А оно, это тяготение двух душ, двух галактик, двух далеких сердец, не стихает.

Значит, пусть приходит на ум горькое: как одинока в мире человеческая душа!

МАСКА

Спектакль окончен.

Вспыхивает свет, стучат освобождаемые кресла, и вы, неловко переступая, проталкиваетесь к выходу, стирая с лица чувства, которыми только что жили, не опасаясь в полутемном зале за слезу.

За дверью вас ожидает жизнь. Суровая штука, как это внушают нам с детства. Поэтому, прежде чем показаться перед ней, вы, как фехтовальщик перед поединком, спешите надеть маску. Выбираете одну из многих – беспечность, меланхолию, строгость. В зависимости от того, что ждет вас впереди – банкет, свидание, работа.

Иначе может расплескаться ваша душа. Проступить невзначай в улыбке, голосе, глазах. А это опасно, она у вас, как вы убедились не раз, вещь хрупкая, требующая особого обращения. Бережете вы ее исключительно для того, чтобы однажды, раскрыв сокровенные глубины, вручить в ласковые и надежные руки. Так пусть же будет ранена маска, а не то вечно детское, что скрывается и болит под ней.

Но вот в вашу душу просится другая, такая же нежная и страждущая: откройся мне, любовь так велит!

Рванетесь навстречу и с ужасом почувствуете: ваша маска приросла. Беспечно улыбается.

И только смерть снимает ее. Но что это? Под ней – другая. Холодный и горестный слепок души, которую вы так долго обнадеживали и так тщетно берегли.

БЕРЕЗА

Из темнеющей хаты выглянул в окно. Сухое предвечернее солнце осыпало березу во дворе. Чутьочку печален этот сильный, но уже прощальный свет.

И вдруг ощущаю: не я это сегодняшней, а семилетний пацан так щемяще и бездумно посмотрел в окно. Значит, все это время жив он был во мне. Выходит, бессмертие обеспечено и этой березе, и этому сумрачному полусвету, собирающемуся по углам хаты и горящему в посудном шкафу. Все остается во мне, все бессмертно.

А когда вот так бессмертны станут все вещи и явления – пускай наступает моя смерть.

Ясность

Странная отрада – бездумно попирать ногами то, что совсем недавно зеленело, упруго дышало. Отраднo сгребать шуршащие ворохи осенних листьев и поджигать их, так же бездумно глядя, как пахучий дым тает в глубоко раскрывшемся и замолчавшем небе. Словно сама ясность, закончив свою орбиту, кленовым листком опустилась, наконец, под ноги, и топчешь ее, такую неуловимую раньше. А мысль, сливаясь с этой ясностью, пока еще глухо шепчет, что скоро придешь к порогу облегчения. Придешь и, не дыша, замрешь.

Какая же завеса упала с природы?

Какие запоры стряхнула душа?

Полутона

Проснулся среди ночи. От лунного света, струившегося в таком исступлении, что показалось: вот-вот прозвучат слова. Скорби ли? Счастья? И наступит избавление. От самого себя.

Но луна по-прежнему в изнеможении льет свой безжизненный свет. А цепкая рука, протянувшаяся из темного угла, хватается сердце и неохотно его отпускает.

Это – отчаяние. Оно с топотом набросилось на беззащитное ото сна сердце. Кричит: весна, опять весна, а ты одинок!

Не пойму я, отчаяние, кто ты, враг или друг?

Три слезы

Давкая, приносящая облегчение – на автовокзале в Столине, среди говора неспешных дядек, помидорной рассады, желтых шариков пылят. Из-за невозможности пробиться к ним из своего далека, уклониться от судьбы, воскресить последнюю искореженную мечту.

Завистливая – в тенистых, как яблоневоый сад, Больших Орах, при виде двух щербатых мальцов, кричавших из-за штaketника вслед моей бороде: «Дядько-дядько! Забэры мэнэ в мэшок!» В светозарном, наполненном мельтешением тополиного пуха воздухе они, два мальчика, как два бестелесных атома в лоне вечности, пока еще не осознающие ни начала ни конца и где-то соприкасающиеся с моей душой, теперь уже безвозвратно разрушенной земным знанием. Неполным и поспешным.

Благодарная – в большом полесском селе Радчицк, около хаты, стоящей без забора на утоптанном грудке и освещенной стволом старой поникшей березы, в листе которой вест вековая воля. В таких хатах живут деревенские Сократы – продубленные «Памиром», еще крепкие, но уже начавшие стареть мужчины. Все происходящее быть должно, ничто не восходит из ничего. Так говорят их направленные внутрь себя, а оттуда к миру взгляды.

Три слезы. Но иначе как мелькнуть гармонии в душе?

Земной выдох

Словно мальчик на балконе осторожно выдул мыльный пузырь, и он повис в воздух, переливист и свеж, так и земля в живительном полусне выдохнула эту пору между июнем и июлем.

Естественность.

Она в пиршестве протоплазмы на дачных участках, в писке вылупившихся по дуплистым вербам птенцов, в мельтешении тополиного пуха, заполнившего пространство. Только в эту пору можно увидеть след ветерка – пепельно-серебристый извив на поле идущей в трубку ржи. И так же естественна женщина – облачно зеленого платья, а сквозь него темный промельк ног. Спешит куда-то, чтобы умножить в мире радости и тепла.

В эту пору я родился.

Последний луч

... ненароком вырвавшийся из-за тускнеющей феерии облаков, с нарочитой, безжалостной ясностью осветил предвечерний апрельский мир – чернеющие набрякшими стволами деревья, темные лужи, ржавую красноту крыш. И ярко зажег окна старого дома напротив. Словно ожил, вспыхнул по неведомым законам взгляд моего двойника, который вот-вот с такой же требовательностью вопросительно смотрел давным-давно на этот грубый и прекрасный в своей жизненной мощи мир и которому жизнь в ответ на болезненные вопросы в насмешку подсунула нищий быт и раннюю болезнь. Взволновал, задел, потому что в понимании невозможности объять всеильное время нас остро влечет миг (звук музыки за чужим окном, взгляд женщины из вагона, кошка, умывающаяся золотистым сентябрьским утром на фоне старых

фотографий в источенных жучком рамках). Миг, воплощающий время в его загадочности и вспыхивающий вдруг в сознании куском смальты, чтобы осветить единым разом всю мозаику временного потока.

Этот последний луч через грядущие лет взором безвестного двойника безошибочно выбрал меня, уже знающего, что мир восходит по спирали, и вставшего на эти старые, кому-то смешные, но свои круги, чтобы в очередной раз, как бы там ни было, попытаться отыскать ответы на остающиеся вечно младенческие вопросы...

Ромашка

Что ты, одиночество, – свобода, становящаяся тьмой, или тюрьма, дарующая свободу?

Жить во мраке, чтобы стремиться к свету, или в ярком свете, чтобы различать мрак?

Я иду сквозь жизнь, или жизнь проходит сквозь меня?

Вечность гадает на мне, как на ромашке, пытаюсь осознать саму себя.

Жить, чтобы умереть, или умереть, чтобы жить?

Я – это вселенная или вселенная – это я?

Конец это виден или начало?

Кузнечики

Летними ночами, когда выплывает ущербный месяц, а другой его ломтик начинает осторожно сиять в душе, высвечивая такие уголки, куда ни за что не проникнуть дневному свету, я выхожу из хаты. И сразу же, с порога, подхватит, ускорив кровь, многоголосый звенящий хор.

Это польхают кузнечики.

Я люблю их слушать. Сколько себя помню. В детстве раздумывал: что они мне напоминают? На память приходило стрекотание сухой велосипедной цепи. То натужно-прерывистое, когда берешь на подъем и привстаешь для этого на педалях, как на стремяна, то быстрое и свободное, когда летишь с горки.

Мои кузнечики! Журчащий звон тонкими спиралями поднимается из травы и вершин деревьев в ночное небо.

Нет, этот звон плывет с неба. Мириадами светляков осыпает непокрытую голову и крышу родной хаты.

Небо смешивается с землей. И медленно, неотвратимо ухожу в уже открывающуюся глубину, откуда слышно, как будут торопиться бесчисленные часики кузнечиков, когда меня уже не будет...